



ИСТИННОЕ ВЕЛИЧИЕ

АНАТОЛЬ Франс говорил о нем: «Эллада имела Гомера, Россия дала Толстого». О нем почтительно отзывались Гауптман и Брандес, Сенкевич и Бьернсон. Румынская королева Елизавета, подписывавшая свои литературные опыты псевдонимом «Кармен Сильва», сравнивала его рассказы с евангелием. Австралийские джорджисты и португальские литераторы слали ему приветствия. Из Индии и Японии он получал письма с вопросами о смысле жизни. Прямодушные американцы спрашивали его, кого он хотел бы видеть президентом Соединенных Штатов: Брайана или Мак-Кинли? Он отвечал: Брайана. Выбрав все-таки Мак-Кинли, но бесспорен факт: именно с Толстого американцы начали всерьез осваивать русскую культуру. Слава его воистину охватывала мир. Редкая судьба знала такой величественный закат.

Написанному им предстояло со временем уложиться в девятую академическую томов, но главные его произведения, и прежде всего три всемирно известных его романа, были у всех на устах и составляли в глазах людей как бы завершающую художественную судьбу, сюжет, исчерпанный эпохой, или, как вскоре сформулировал Ленин, шаг вперед в художественном развитии всего человечества.

В сорок лет написан роман «Война и мир» — своеобразная «Илиада» русских, героический эпос, настолько странный и неожиданный среди злободневностей эпохи реформ, что Достоевский назвал его миражем. В известном смысле это был действительно мираж, духовная ретроспекция, ликующий взгляд в прошлое — туда, где в преданиях 1812 года, безоговорочно сплотившего Россию перед лицом внешней опасности, разглядел Толстой то идеальное слияние человека и Целого, которым ответил он и позору недавней Севастопольской кампании, и тревогам современности.

Современность не походила на героический эпос. И все-таки Толстой продолжал искать в ней неповрежденное единство, веря, что его просто не может не быть. Эта вера породила «Анну Каренину», совершеннейшее произведение пятидесятилетнего художника, где реальность злободневных «вопросов» соединилась с неотвратимой логикой духовного возмездия и воздаяния в судьбе каждой личности. — Толстому казалось, что в реформированной России, где все перевернулось и

К 150-летию СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
Л. Н. ТОЛСТОГО

только укладывается, нравственный абсолют так или иначе проложит себе дорогу.

Но плохо уложилось в России, непрочно, опасно. Не стало единства в этом мире и мира на этой земле. Толстой искал выход. В отчаянии он доходил до отрицания культуры, не умевшей справиться с народным спросом, до отрицания самой литературы, до отрицания собственного творчества. В шестьдесят лет он начал роман «Воскресение», писал мучительно долго и в семьдесят лет окончил его — на самом исходе века. Он чувствовал: это последняя эпическая попытка. Третий его роман, проникнутый покаянием, тронутый ощущением необратимости совершающегося, прозвучал как реквием уходящей эпохе, уходящей культуре, когда ни покаяние, ни любовь не могут воскресить старый, рассыпающийся мир, — новый же мир нов и непонятен.

Национальный гений, доживший до слома времени, зеркало русской революции, чуткий колокол мужицкого бунта, мужицкой наивности и мужицкого отчаяния, он всю жизнь чувствовал приближение катастрофы, в которой должна была расколоться взрастившая его вселенная. И всю жизнь он пытался заглянуть, предотвратить, смягчить эту катастрофу. В начале пути, когда писал Блудову: теперь не время думать об исторической справедливости и о выгодах класса — нужно спасти дом от пожара, который вот-вот обнимет! В середине пути, когда писал: «Так что же нам делать?» — ужасная развязка приближалась. В конце пути, когда писал в нелегальных «Памятках»: кровь неизбежна, я хочу уменьшить подступающее братоубийство. Не случайно духовный кризис Толстого исторически совпал со взрывом бомбы, которой народолюбцы в куски разнесли Александра II: либеральный царь был убит, и почти одновременно пошли по миру беззащитные в своей наивности толстовские исповеди, призывы к всеобщей кротости: к сильным — не есть мяса, к слабым — не держать обид. Старинная, из прошлого века идущая, наследственная бытовая роскошь теперь уже простояла жгала Толстого: чувствуя ее непрочность, он спешил сам личным опровержением подать пример. Но

кто в той России мог взять пример с возлюбившего пахать графа? — Это вызывало только улыбки. А он все кричал свою проповедь: бунтарей отговаривал от бунта, власть изобличал в тупости.

Он заболел и приготовился умереть в самом начале этого века. Шел 1901 год. Россия готовилась его оплакивать, власть подсылала к нему попов: не захочет ли примириться? Судьбе было угодно, чтобы он поднялся с одра и еще десятилетие прожил в новом, двадцатом столетии. Из своего

поместья он увидел, как вспыхнула и погасла первая русская революция. Наступившая тишина не могла обмануть его: сквозь мирное гудение новой массовой цивилизации он ловил команды карателей, сквозь торжествующее жужжание первых автомобилей и авианов, сквозь торопливый стрекот первых кинематографов, сквозь самозабвенный говор депутатов первого русского парламента он слушал только одно: идущий от земли ропот отчаяния и гнева.

Подгоняемый этим гневом, он печатал свои памфлеты через голову правительства и цензуры в Англии, откуда они расходились по всему миру и притекали обратно в Россию сотнями гектографических списков. Правительство сажало за эти листки переписчиков, но автора их не трогало. Хотя он более всего хотел, чтобы власть засадила его в тюрьму вместе с бунтарями. Один остроумный генерал как-то передал ему в ответ на это: слава Льва Толстого так велика, что ни одна тюрьма в России не вместит ее.

Эта слава, кажется, начлена динамитом. К 80-летию Толстого в 1908 году все готовятся как к сражению.

Надвигается буря. Из Америки идет поздравительная депеша в три тысячи слов (Соединенные Штаты ставят очередной рекорд), а из Москвы идет Толстому посылка с веревкой и хулиганским письмом, подписанным «Русская мать». Вокруг Толстого — драка. Никто не отрицает в нем гениального писателя, но как только речь заходит о моралисте, дни торжеств оборачиваются, как выражаются газеты, «днями раздора». Последняя статья юбиляра «Не могу молчать!» запрещена, напечатанные ее редакторы оштрафованы или сидят под арестом. Власть предпочитает Толстого бояться. Церковь его отлучила. Черносотенцы считают его агентом международного масонства и жидовства, крайние революционеры считают его юродствующим хлюпиком. Согласно с Толстым одни только толстовцы, но и они им недовольны, потому что не раздает Ясную Поляну и не идет по миру.

Стороны готовятся. Святейший синод обращается к возлюбленным чадам с призывом воздержаться от участия. Премьер-министр Столыпин узнает о призыве синода из газет: он не давал на это санкции. Губернаторы запрашивают указаний, а власть пребывает в нерешительности. На всякий случай Московская городская управа рассылает циркуляр с запретом

чествования Толстого в школах. Разносится слух, что Иоанн Кронштадтский тоже проявил инициативу: вознес молитву, чтобы господь поскорее прибрал старого богохульника. Общество шокировано; отец Иоанн оправдывается: он молился лишь о том, чтобы господь направил заблудшего графа на путь истинный. Пока в столице выселяют эти тонкости, в Царицыне иеромонах Илиодор перед толпой зевак и фанатиков предаст Толстого громогласной анафеме. Саратовский губернатор Татищев вызван в Петербург для объяснения. Меж тем Петербургская городская дума, выработав текст приветствия, мучительно решает, слать или не слать, — вдруг в последний момент юбилей запретят? «Общество» рассказывает об этом анекдоты, фельетонисты не умолкают, страсти накаляются.

А пока все это происходит в верхах и в «обществе», в народе происходит следующее: студенты и приказчики, электротехники и страхоты, гимназисты и учителя, члены родительских кружков и пассажиры поездов — вся гигантская, служивая, работающая, земская, неуправляемая Россия самостоятельно и доморощено сочиняет Толстому приветствия. Сапожники посылают ему сапоги и диплом почетного члена своего цеха. Официанты — самовар с выбитыми на меди толстовскими сен-тенциями. Табачники шлют ему папиросы, с которыми в Ясной Поляне не знают, что делать. Люди снимаются с мест, едут в Тулу, и дальше — на извозчике или пешком — в Ясную сказать Толстому о своих чувствах...

Проходит двадцать лет. Наступает следующая «круглая» дата — столетие со дня рождения.

Юбилей 1908 года называли скандальным. Юбилей 1928 года лучше всего назвать боевым. Луначарский и Ольминский обсуждают в «Правде», насколько велика опасность оживления толстовства и какие следует принять меры, чтобы в связи с юбилеем не активизировался, как тогда выражались, вредный элемент. Группа красноармейцев в коллективном письме запрашивает Совнарком, зачем в таком случае чествовать непривлеца. Луначарский разъясняет обеспокоенным читателям, что Толстому можно дать «практическое употребление» в новых исторических условиях. Газеты к этому и готовятся. Цитирую заголовки юбилейных статей: «Используем Толстого, как один из механизмов в машине культурной революции!», «Толстой двулик», «Толстой наш и Толстой чужой», «Чтим Толстого, даем бой толстовству», «Великий попутчик», «Юбилей или суд?».

Вчитываясь сегодня в юбилейные статьи, посвященные 150-летию Л. Н. Толстого, видишь, сколь многое прояснилось, утвердилось и воздалось за эти столетия. Семь или восемь поколений воспитано на Толстом (сам он мечтал, чтобы по его «Азбуке» выучились два поколения русских детей). Его сочинения превратились в хрестоматию. Облик его в статьях о нем сделался величествен и большею частью гармоничен.

Помним ли мы сегодня, что он был объектом вечного боя? Помним ли, сколько драматизма было в его славе? Помним ли, что только в страстях и муках рождается истинное величие?

Л. АННИНСКИЙ.